



Н. А. БЕРДЯЕВ

О «вечно бабьем» в русской душе

I

Вышла книга В. В. Розанова «Война 1914 года и русское возрождение»¹. Книга — блестящая и возмущающая. Розанов сейчас — первый русский стилист, писатель с настоящими проблесками гениальности. Есть у Розанова особенная, таинственная жизнь слов, магия словосочетаний, притягивающая чувственность слов. У него нет слов отвлеченных, мертвых, книжных. Все слова — живые, биологические, полнокровные. Чтение Розанова — чувственное наслаждение. Трудно передать своими словами мысли Розанова. Да у него и нет никаких мыслей. Все заключено в органической жизни слов и от них не может быть оторвано. Слова у него не символы мысли, а плоть и кровь. Розанов — необыкновенный художник слова, но в том, что он пишет, нет аполлонического претворения и оформления. В ослепительной жизни слов он дает сырье своей души, без всякого выбора, без всякой обработки. И делает он это с даром единственным и неповторимым. Оне презирает всякие «идеи», всякий логос, всякую активность и сопротивляемость духа в отношении к душевному и жизненному процессу. Писательство для него есть биологическое отправление его организма. И он никогда не сопротивляется никаким своим биологическим процессам, он их непосредственно заносит на бумагу, переводит на бумагу жизненный поток. Это делает Розанова совершенно исключительным, небывалым явлением, к которому трудно подойти с обычными критериями. Гениальная физиология розановских писаний поражает своей безыдейностью, беспринципностью, равнодушием к добру и злу, неверностью, полным отсутствием нравственного характера и духовного упора. Все, что писал Розанов, писатель богатого дара и большого жизненного значения, есть

огромный биологический поток, к которому невозможно при- ставать с какими-нибудь критериями и оценками.

Розанов — это какая-то первородная биология, переживаемая как мистика. Розанов не боится противоречий, потому что противоречий не боится биология, их боится лишь логика. Он готов отрицать на следующей странице то, что сказал на предыдущей, и остается в целостности жизненного, а не логического процесса. Розанов не может и не хочет противостоять наплыву и напору жизненных впечатлений, чувственных ощущений. Он совершенно лишен всякой мужественности духа, всякой активной силы сопротивления стихиям ветра, всякой внутренней свободы. Всякое жизненное дуновение и ощущение превращают его в резервуар, принимающий в себя поток, который потом с необычайной быстротой переливается на бумагу. Такой склад природы принуждает Розанова всегда преклоняться перед фактом, силой и историей. Для него сам жизненный поток в своей мощи и есть Бог. Он не мог противостоять потоку националистической реакции 80-х годов, не мог противостоять потоку декадентства в начале XX века, не мог противостоять революционному потоку 1905 г., а потом новому реакционному потоку, напору антисемитизма в эпоху Бейлиса, наконец, не может противостоять могучему потоку войны, подъему героического патриотизма и опасности шовинизма.

Многих пленяет в Розанове то, что в писаниях его, в своеобразной жизни его слов чувствуется как бы сама мать-природа, мать-земля и ее жизненные процессы. Розанова любят потому, что так устали от отвлеченности, книжности, оторванности. В его книгах как бы чувствуют больше жизни. И готовы простить Розанову его чудовищный цинизм, его писательскую низость, его неправду и предательство. Православные христиане, самые нетерпимые и отлучающие, простили Розанову все, забыли, что он много лет хулил Христа, кощунствовал и внушал отвращение к христианской святине, Розанов все-таки свой человек, близкий биологически, родственник, дядюшка, вечно упоенный православным бытом.

Он, в сущности, всегда любил православие без Христа и всегда оставался верен такому языческому православию, которое ведь много милее и ближе, чем суровый и трагический дух Христов. В Розанове так много характерно-русского, истинно-русского. Он — гениальный выразитель какой-то стороны русской природы, русской стихии. Он возможен только в России. Он зародился в воображении Достоевского и даже превзошел своим неправдоподобием все, что представлялось этому гениальному

воображению. А ведь воображение Достоевского было чисто русское, и лишь до глубины русское в нем зарождалось. И если отрадно иметь писателя, столь до конца русского, и поучительно видеть в нем обнаружение русской стихии, то и страшно становится за Россию, жутко становится за судьбу России. В самых недрах русского характера обнаруживается вечно-бабье, не вечно-женственное, а вечно-бабье. Розанов — гениальная русская баба, мистическая баба². И это «бабье» чувствуется и в самой России.

II

Книга Розанова о войне заканчивается описанием того потока ощущений, который хлынул в него, когда он однажды шел по улице Петрограда и встретил полк конницы. «Я все робко смотрел на эту нескончаемо идущую вереницу тяжелых всадников, из которых каждый был так огромен сравнительно со мной!.. Малейшая неправильность движения — и я раздавлен... Чувство своей подавленности более и более входило в меня. Я чувствовал себя обвеянным чужою силой, — до того огромной, что мое “я” как бы уносилось пушинкою в вихре этой огромности и этого множества... Когда я вдруг начал чувствовать, что не только “боюсь”, но и — обворожен ими, — зачарован странным очарованием, которое только один раз — вот этот — испытал в жизни. Произошло странное явление: преувеличенная мужественность того, что было предо мною, — как бы изменила структуру моей организации и отбросила, опрокинула эту организацию — в женскую. Я почувствовал необыкновенную нежность, истому и сонливость во всем существе... Сердце упало во мне — любовью... Мне хотелось бы, чтобы они были еще огромнее, чтобы их было еще больше... Этот колосс физиологии, колосс жизни и должно быть источник жизни — вызвал во мне чисто женственное ощущение безвольности, покорности и ненасытного желания “побыть вблизи”, видеть, не спускать глаз... Определенно — это было начало влюбления девушки» (с. 230–232). И Розанов восклицает: «Сила — вот одна красота в мире... Сила — она покоряет, перед ней падают, ей, наконец, — молятся... Молятся вообще “слабые” — “мы”, вот “я” на тротуаре... В силе лежит тайна мира... Огромное, сильное... Голова была ясна, а сердце билось... как у женщин. Суть армии, что она всех нас превращает в женщин трепещущих, обнимающих воздух...» (с. 233–234). Это замечательное описание дает ощущение прикосновения, если

не к «тайне мира и истории», как претендует Розанов, то к какой-то тайне русской истории и русской души. Женственность Розанова, так художественно переданная, есть также женственность души русского народа. История образования русской государственности, величайшей в мире государственности, столь непостижимая в жизни безгосударственного русского народа, может быть понята из этой тайны. У русского народа есть государственный дар покорности, смирения личности перед коллективом. Русский народ не чувствует себя мужем, он все невестится, чувствует себя женщиной перед колоссом государственности, его покоряет «сила», он ощущает себя розановским «я на тротуаре» в момент прохождения конницы. Сам Розанов на протяжении всей книги остается этим трепещущим «я на тротуаре». Для Розанова не только суть армии, но и суть государственной власти в том, что она «всех нас превращает в женщин, слабых, трепещущих, обнимающих воздух...» И он хочет показать, что весь русский народ так относится к государственной власти. В книге Розанова есть изумительные, художественные страницы небывалой апологии самодовлеющей силы государственной власти, переходящей в настоящее идолопоклонство. Подобного поклонения государственной силе, как мистическому факту истории, еще не было в русской литературе. И тут вскрывается очень интересное соотношение Розанова со славянофилами.

III

Книга Розанова свидетельствует о возрождении славянофильства. Оказывается, что славянофильство возродила война, и в этом — основной смысл войны. Розанов решительно начинает за здравие славянофильства. И сам он повторяет славянофильские зады, давно уже отвергнутые не «западнической» мыслью, а мыслью, продолжавшей дело славянофилов. После В. Соловьева нет уже возврата к старому славянофильству. Но еще более, чем мыслью, опровергнуты славянофильские зады жизнью. Розанову кажется, что патриотический и национальный подъем, вызванный войною, и есть возрождение славянофильства. Я думаю, что нынешний исторический день совершенно опрокидывает и славянофильские, и западнические платформы, и обязывает нас к творчеству нового самосознания и новой жизни. И мучительно видеть, что нас тянут назад, к отживающим формам сознания и жизни. Мировая война, конечно, приведет к преодолению старой постановки вопроса о России и Европе, о Востоке и

Западе. Она прекратит внутреннюю распрю славянофилов и западников, упразднит и славянофильство, и западничество, как идеологии провинциальные, с ограниченным горизонтом.

Неужели мировые события, исключительные в мировой истории, ничему нас не научат, не приведут к рождению нового сознания и оставят нас в прежних категориях, из которых мы хотели вырваться до войны? Русское возрождение не может быть возрождением славянофильства, оно будет концом и старого славянофильства, и старого западничества, началом новой жизни и нового сознания. Розанова же война вдохновила лишь на повторение в тысячный раз старых слов, потерявших всякий вкус и аромат: «вся русская история есть тихая, безбурная; все русское состояние — мирное, безбурное. Русские люди — тихие. В хороших случаях и благоприятной обстановке они неодолимо вырастают в ласковых, приветных, добрых людей. Русские люди — «славные» (с. 51). Но с неменьшим основанием можно было бы утверждать, что русская душа — мятежная, ищущая, душа странническая, взыскующая Нового Града, никогда не удовлетворяющаяся ничем средним и относительным. Из этой прославленной и часто фальшиво звучащей «тихости, безбурности и славности» рождается инерция, которая мила вечно-бабьему сердцу Розанова, но никогда не рождается новой, лучшей жизни. В розановской стихии есть вечная опасность, вечный соблазн русского народа, источник его бессилия стать народом мужественным, свободным, созревшим для самостоятельной жизни в мире. И ужасно, что не только Розанов, но и другие, призванные быть выразителями нашего национального сознания, тянут нас назад и вниз, отдаются соблазну пассивности, покорности, рабству у национальной стихии, женственной религиозности. Не только вечное, но и слишком временное, старое и устаревшее в славянофильстве хотели бы восстановить С. Булгаков, В. Иванов, В. Эрн. Огромной силе, силе национальной стихии, земли не противостоит мужественный, светоносный и твердый дух, который призван овладеть стихиями. Отсюда рождается опасность шовинизма, бахвальство снаружи и рабье смирение внутри. И мир внутри России, преодоление вражды и злобы делают невозможным именно Розанов и ему подобные. Эти люди странно понимают взаимное примирение и воссоединение враждующих партий и направлений, так понимают, как понимают католики соединение Церквей, т. е. исключительно присоединение к одной стороне, на которой вся полнота истины. Этот старый способ не заморит исторической распри «правого» и «левого» лагеря. Покаяние должно быть взаимным, и амнистия должна быть взаимной, и

согласие на самоограничение и жертву должно быть взаимным. Верилось, что война приведет к этому, но пока этого нет, и наши националистические идеологи мешают этому. Розановские настроения служат делу злости, а не мира.

Начав за здравие славянофилов, Розанов кончает за упокой. Он отдает решительное предпочтение России официальной и государственной перед Россией народной и общественной, и славянофильству официальному перед славянофильством общественным. Славянофилы считали русский народ народом безгосударственным, и очень многое на этом строили. Розанов, напротив, считает русский народ народом государственным по преимуществу. В государственности Розанова, которая для него самого является неожиданностью, ибо в нем самом всего менее было государственности и гражданственности, — он всегда был певцом частного быта, семейного родового уклада, — чувствуется приспособление к духу времени, бабья неспособность противостоять потоку впечатлений нынешнего дня. Мнение славянофилов о безгосударственности русского народа требует больших корректив, так как оно слишком не согласуется с русской историей, с фактом создания великого русского государства.

Но способ, которым Розанов утверждает государственность и поклоняется его силе, — совсем не государственный, совсем не гражданский, совсем не мужественный. Розановское отношение к государственной власти есть отношение безгосударственного, женственного народа, для которого эта власть есть всегда начало вне его и над ним находящееся, инородное ему. Розанов, как и наши радикалы, безнадежно смешивает государство с правительством и думает, что государство — это всегда «они», а не «мы». Что-то рабье есть в словах Розанова о государственности, какая-то вековая отчужденность от мужественной власти. Это какое-то мление, недостойное народа, призванного к существованию совершеннолетнему, мужественно-зрелому. В своем рабьем и бабьем млении перед силой государственности, импонирующей своей далекостью и чуждостью, Розанов доходит до того, что прославляет официальную правительственную власть за ее гонения против славянофилов. Новый поток впечатлений хлынул на Розанова. Славянофилы, которые в начале книги выражали Россию и русский народ, в конце книги оказываются кучкой литераторов, полных самомнения и оторванных от жизни. Истинным выразителем России и русского народа было официальное правительство, которому славянофилы осмеливались оказывать оппозицию. «Славянофильство» умерло, потому что оно оказалось ненужным и напрасным, только мешающим в параллель-

ной мысли тому «официальному правительству», которое одно и могло сделать... Они (славянофилы) были именно малодушны о русской истории, твердя, но отвлеченно, о ней, что она святая... Святая Русь им казалась менее умной и менее правдивой, чем их литературная и общественная партия. И вот откуда на них гонение, «довольно понятное» (с. 122). Возрождение славянофильства оказывается совсем ненужным. Государственная власть и была истинным славянофильством, рядом с которым жалко и ненужно славянофильство литературное, идеологическое. Славянофильство воскреснет лишь под тем условием, что оно покается перед официальным правительством и пойдет за ним. Идолопоклонство перед фактом, как силой, достигло завершения.

Славянофилы не были способны на такое идолопоклонство и потому были бессильны. «Пятном на славянофильстве было то, что они за официальностью не видели сердца, которое всегда билось. Мундир распахнулся, — и мы увидели сердце, которое всегда болело. И болело по-своему, никому не подражая, болело из себя» (с. 127). «Несчастье, ошибка и порок славянофилов заключался именно в таком воздушном представлении своей якобы воздушной истории, якобы безматериальной истории» (с. 125). Славянофильство оказывается нисколько не лучше западничества, оно — так же отвлеченно, литературно, идеологично, оторвано от подлинной жизни, которая есть Россия «официальная». Славянофилы действительно преклонялись больше перед русской «идеей», чем перед фактом и силой. Розанов завершает славянофильство преклонением перед силой и фактом. Презрение Розанова к идеям, мыслям, литературе не имеет пределов. Чиновник для него выше писателя. Чиновничья служба — дело серьезное, а литература — забава. Русский народ — государственный и серьезный народ. «Ему было любо государство в самих казнях, — ибо, казня, государство видело в нем душу и человека, а не игрушку, с которой позабавиться. Увы, литература только “забавилась” около человека» (с. 135). Розанов хочет с художественным совершенством выразить обывательскую точку зрения на мир, тот взгляд старых тетушек и дядюшек, по которому государственная служба есть дело серьезное, а литература, идеи и пр. — пустяки, забава. Но до чего все это литература у самого Розанова. Он сам насквозь литератор, и литератор болтливый. Розанов был когда-то чиновником контрольного ведомства. Но вряд ли он захочет остаться в истории в таком качестве. Он захочет остаться в истории знаменитым литератором и ни от одной строчки, написанной им, не откажется. Как много литера-

туры в самом чувстве народной жизни у Розанова, как далек он от народной жизни и как мало ее знает.

Народ и государственность в ослепительно талантливой литературе Розанова так же отличаются от народа и государственности в жизни, как прекраснородушная война его книги отличается от трагической войны, которая идет на берегах Вислы и на Карпатах. Органичность, народность, объективная космичность Розанова лишь кажущиеся. Он совершенно субъективен, импрессионистичен и ничего не знает и не хочет знать, кроме потока своих впечатлений и ощущений. Само преклонение Розанова перед фактом и силой есть лишь перелив на бумагу потока его женственно-бабьих переживаний, почти сексуальных по своему характеру. Он сам изобличил свою психологию в гениальной книге «Уединенное», которая должна была бы быть последней книгой его жизни и которая навсегда останется в русской литературе. Напрасно Розанов призывает к серьезности против игры и забавы. Сам он лишен серьезного нравственного характера, и все, что он пишет о серьезности официальной власти, остается для него безответственной игрой и забавой литературы. Он никогда не возьмет на себя ответственности за все сказанное им в книге о войне.

IV

Есть что-то неприятное и мучительное в слишком легком, благодушном, литературно-идеологическом отношении к войне. Мережковский справедливо восстал против «соловьев над кровью»³. Можно видеть глубокий смысл нынешней войны, и нельзя не видеть в ней глубокого духовного смысла. Все, что совершается ныне на войне материально и внешне, — лишь знаки того, что совершается в иной, более глубокой, духовной действительности. Можно чувствовать, что огонь войны очистителен. Но война — явление глубоко трагическое, антиномическое и страшное, а нынешняя война — более, чем какая-либо из войн мировой истории. «Кровь — жидкость совсем особенная», — говорит Гете в «Фаусте»⁴. И нужно самому приобщиться к мистике крови, чтобы иметь право до конца видеть в ней радость, благо, очищение и спасение. Кабинетное, идеологическое обоготворение стихии войны и литературное прославление войны, как спасительницы от всех бед и зол, нравственно неприятно и религиозно недопустимо. Война есть внутренняя трагедия для каждого существа, она бесконечно серьезна. И мне кажется, что

Розанов со слишком большой легкостью и благополучием переживает весну от войны, сидя у себя в кабинете. Он пишет о героическом подъеме, хотя героизм чужд ему окончательно и он отрицает его каждым своим звуком. Но он так же не может противиться наплыву героизма, как не может противиться разгрому германского посольства, который старается защитить. Нужно помнить, что природа войны отрицательная, а не положительная, она — великая проявительница и изобличительница. Но война сама по себе не творит новой жизни, она — лишь конец старого, рефлексия на зло. Обоготворение войны так же недопустимо, как недопустимо обоготворение революции или государственности.

V

Есть в книге Розанова еще одна неприятная и щекотливая для него сторона. Розанов всюду распинается за христианство, за православие, за Церковь, всюду выставляет себя верным сыном православной Церкви. Он уверяет, что славянофилов не любили потому, что они были христианами. Он повторяет целый ряд общих мест об измене христианству, от отпадении от веры отцов, поминает даже «Бюхнера и Мошотта», о которых не особенно ловко и вспоминать теперь, до того они отошли в небытие. Но я думаю, что христианская религия имела гораздо более опасного, более глубокого противника, чем «Бюхнер и Мошотт», чем наивные русские нигилисты, и противник этот был — В. В. Розанов. Кто написал гениальную хулу на Христа «об Иисусе Сладчайшем и о горьких плодах мира», кто почувствовал темное начало в Христе, источник смерти и небытия, истребление жизни и противопоставил «демонической» христианской религии светлую религию рождения, божественное язычество, утверждение жизни и бытия? *

О, как невинно, как неинтересно и незначительно отношение к христианству Чернышевского и Писарева, Бюхнера и Мошотта по сравнению с отрицанием Розанова. Противление Розанова христианству может быть сопоставлено лишь с противлением Ницше, но с той разницей, что в глубине своего духа Ницше ближе ко Христу, чем Розанов, даже в том случае, когда он берет под свою защиту православие. Лучшие, самые яркие, самые гениальные страницы Розанова написаны против Христа и хрис-

* См. книгу Розанова «Темный Лик».

тианства. Розанов, как явление бытия, есть глубочайшая, полярная противоположность всему Христову. Конечно, с Розановым мог произойти духовный переворот, в нем могло совершиться новое рождение, из язычника он мог стать христианином. Нехорошо попрекать человека тем, что раньше он был другим. Но с Розановым не в этом вопрос. Каждая строка Розанова свидетельствует о том, что в нем не произошло никакого переворота⁵, что он остался таким же язычником, беззащитным против смерти, как и всегда был, столь же полярно противоположным всему Христову. Есть документы его души: «Уединенное» и «Опавшие листья», которые он сам опубликовал для мира. Розанов пережил испуг перед ужасом жизни и смерти. О смерти он раньше не удосуживался подумать, так как исключительно был занят рождением и в нем искал спасение от всего. И Розанов из страха принял православие, но православие без Христа, — православный быт, всю животную теплоту православной плоти, все языческое в православии. Но ведь это он всегда любил в православии и всегда жил в этой коллективной животной теплоте — не любил он и не мог принять лишь Христа. Нет ни единого звука, который свидетельствовал бы, что Розанов принял Христа и в Нем стал искать спасение. Розанов сейчас держится за православную Церковь по посторонним, не религиозным соображениям и интересам, по мотивам национальным, житейско-бытовым, публицистическим. Нельзя быть до того русским и не иметь связи с православием! Православие так же нужно Розанову для русского стиля, как самовар и блины. Да и с «левыми», и с интеллигентами и нигилистами легче расправляться, имея в руках орудие православия. Но я думаю, что иные русские интеллигенты-атеисты на какой-то глубине ближе ко Христу, чем Розанов. Русские интеллигенты, в лучшей, героической своей части, очень национальны и в своем антинационализме, в своем отщепенстве и скитальчестве, и даже в своем отрицании России. Это — явление русского духа, более русского, чем национализм западно-немецкого образца. Сам же Розанов видит в русском западничестве чисто русское самоотречение и смирение (с. 53). И невозможно все в жизни русской интеллигенции отнести на счет «Бюхнера и Молешотта», «Маркса и Энгельса». Ни Маркс, ни Бюхнер никогда не сидели глубоко в русской душе, они заполняли лишь поверхностное сознание.

Великая беда русской души в том же, в чем беда и самого Розанова, — в женственной пассивности, переходящей в «бабье», в недостатке мужественности, в склонности к браку с чужим и чуждым мужем. Русский народ слишком живет в нацио-

нально-стихийном коллективизме, и в нем не окрепло еще сознание личности, ее достоинства и ее прав. Этим объясняется то, что русская государственность была так пропитана неметчиной и часто представлялась инородным владычеством. «Розановское», бабье и рабье, национально-языческое, дохристианское все еще сильно в русской народной стихии. «Розановщина» губит Россию, тянет ее вниз, засасывает, и освобождение от нее есть спасение для России. По крылатому слову Розанова, «русская душа испугана грехом», и я бы прибавил, что она им ушиблена и придавлена. Этот первородный испуг мешает мужественно творить жизнь, овладеть своей землей и национальной стихией. И если есть желанный смысл этой войны, то он прямо противоположен тому смыслу, который хочет установить Розанов. Смысл этот может быть лишь в выковыивании мужественного, активного духа в русском народе, в выходе из женственной пассивности. Русский народ победит германизм, и дух его займет великодержавное положение в мире, лишь победив в себе «розановщину». Мы давно уже говорили о русской национальной культуре, о национальном сознании, о великом призвании русского народа. Но наши упования глубоко противоположны всему «розановскому», «вечно-бабьему», шовинизму и бахвальству, и этому духовно-вампирическому отношению к крови, проливаемой русскими войсками. И думается, что для великой миссии русского народа в мире останется существенной та великая христианская истина, что душа человеческая стоит больше, чем все царства и все миры...

1914

